

Александр Козинцев

АНТРОПОЛОГИЯ СМЕХА: НА ПУТИ К СИНТЕЗУ

В результате совместных усилий десятков специалистов из разных стран обозначились контуры науки, которую можно назвать «антропологией смеха». Находясь на переднем крае комплексных исследований человеческого поведения, она еще не сформировалась полностью ни у нас, ни за рубежом.

Предлагаемый текст представляет собой предельно сжатый очерк междисциплинарной теории смеха и юмора, построенной на данных ряда наук, гуманитарных и естественных – этологии, психологии, нейрофизиологии, лингвистики, семиотики, этнографии, филологии и философии. Теория создавалась на протяжении двух десятилетий и излагалась по частям во многих публикациях, в частности, в сборнике [6] и, в наиболее полном виде, – в книге [5]. Объем данной статьи не позволяет привести сколько-нибудь полный библиографический список (все необходимые ссылки можно найти в книге [5]).

1. Комическое как нейтрализующее метаотношение

Предлагаемая теория комического знаменует собой разрыв с большинством существующих концепций. Спорить здесь с ними невозможно и ненужно – это сделано в книге. Важнее элементы преемственности, в первую очередь с теориями И. Канта, Жан-Поля, Дж. Салли, Л. Пиранделло и С. М. Эйзенштейна. Первые двое, будучи, правда, «классиками», упоминаются специалистами по смеху гораздо реже, чем Бергсон или Фрейд. Теории же Салли, Пиранделло и Эйзенштейна оказались не только неустаревшими, но и почти незамеченными, хотя именно они соответствуют современному уровню знаний больше, чем какие-либо иные теории прошлого и настоящего, за исключением теории М. М. Бахтина.

Анализ психологических и эволюционных аспектов комического приводит к выводу, что юмор (в принятом сейчас в мировой науке широком смысле) противостоит всем прочим человеческим чувствам, будучи единственным чувством, которое целиком субъективно. Юмор основан на чистой рефлексии и представляет собой отношение субъекта к своему собственному отношению, т. е. метаотношению. Но в отличие от серьезного метаотношения (например, разума к чувству или «Сверх-я» – к «Оно»), юмор не включает в себя отношение к действительности, а, наоборот, отключает, нейтрализует его. У юмора нет никаких объектов во внешнем мире (реальном или воображаемом). Подлинными его объектами – мысли, чувства и слова самого субъекта. Юмор освобождает их от бремени смысла и играет с «представлениями рассудка, посредством которых ничего не

мыслится» [4, с. 205]. Не одна часть личности конфликтует с другой, а вся личность в целом в игре притворяется иной, отрицает себя, нисколько не скрывая своего притворства.

Юмор обнаруживает тесную связь с пародией. Оба явления направлены не на действительность, а только на способ восприятия и осмысления этой действительности кем-то. Кем же именно?

Д. С. Лихачев заметил, что персонажи средневековой пародии – не объекты, а субъекты. Пародист не возвышается над ними, а становится на их «дурацкий» уровень мировосприятия. «Валя дурака», человек смеется над собою. Как показали Ю. Н. Тынянов и О. М. Фрейдберг, суть пародии – не в высмеивании кого-то или чего-то конкретного, а в диалектическом противовесе существующей системе мировосприятия и выходе за ее пределы. Все это оказывается верным не только по отношению к месту человека в конкретной культуре (древнерусской ли, как у Лихачева, русской XIX в., как у Тынянова, античной или средневековой европейской, как у Фрейдберга), но и по отношению к месту его в мире вообще.

Если признать, что юмор направлен не вовне, а вовнутрь, на самого субъекта, то т. н. «семантика» юмора предстает в совершенно ином свете. То, что теоретики школы В. Раскина – С. Аггардо (создатели «общей теории словесного юмора») и когнитивные лингвисты именуют «семантикой юмора», насквозь недоброкачественно и не заслуживает серьезного изучения. Подходя к юмористическим текстам с серьезными мерками, лингвисты игнорируют специфику таких текстов, а потому главная цель анализа не достигается. «Оппозиции скриптов» и «смены фреймов» не специфичны для юмора и не составляют его сути. Скрипты и фреймы статичны и серьезны, они образуют оппозиции и вытесняются один другим на уровне системы, образуемой текстом. Между тем, главное в восприятии юмора – переход на метауровень, при взгляде с которого все присущие семантике текста серьезные оппозиции нейтрализуются. Суть юмора – в одной единственной оппозиции: серьезность/несерьезность.

Понятие «смешное», навязываемое нам языком и большинством теорий смеха начиная с аристотелевской – это псевдооценка, психологическая и языковая фикция. Объект (реальный или воображаемый) дает субъекту лишь внешний, формальный повод для отключения серьезного отношения.

Чистый комический образ примитивен и бессодержателен. Это не следствие изменения отношения субъекта к объекту (как в случае с серьезным образом, сколь бы субъективным и гротескным он ни был), а результат временного интеллектуального регресса субъекта, который начинает смотреть на мир с точки зрения маленького ребенка, пьяного, дурака и – вполне вероятно – своего далекого предка, одновременно оставаясь собою и смеясь над своим временным поглупением. Именно в

этом воображаемом регрессе («подражании худшим людям», по Аристотелю), а вовсе не в объекте, заключена суть комического снижения. Мгновенное соскальзывание вниз, ставшее возможным в результате долгого пути наверх – вот сущность юмора.

На «дурацком» уровне восприятия связь образа с объектом сохраняется лишь за счет узурпированных (по выражению О. М. Фрейденаберг) комическим формальных, внешних черт, благодаря которым человек в комической трактовке приобретает сходство с животным или вещью, а животные и вещи напоминают людей. Чистый комический образ – это псевдообраз, в нем не отражаются ни чувство, ни мысль, ни оценка, ни вообще какое-либо отношение субъекта к объекту. Радость от негативистской игры, сближающей взрослых с детьми, а людей с обезьянами, – вот единственный смысл юмористической эйфории.

Чистые комические образы – «подобия», по Фрейденаберг, – господствовали в древней аттической комедии, а когда комедия облагородилась, стали элементами всех низменных, площадных жанров комического искусства. Чистые комические герои вроде Фомы и Еремы или персонажей лимериков – эти, по словам Д. С. Лихачева, «ненастоящие герои», «куклы», «герои, которых нет» – заполняют юмористический фольклор от трикстерских мифов до современных анекдотов.

По мере того, как чувства и мысли, связанные с объектом, вновь обретают для субъекта актуальность, образ перестает быть чисто комическим. Он либо теплеет, оживает, облагораживается (именно это имеют в виду авторы, которые трактуют понятие «юмор» узко, вкладывая в него симпатию к объекту), либо, наоборот, приобретает сатирические черты.

Идея временного психологического регресса (это слово употребляется здесь не в оценочном, а лишь в эволюционном смысле) и совмещения несовместимых точек зрения, соответствующих разным этапам развития субъекта, будучи центральной в теории С. М. Эйзенштейна, находит соответствие в концепциях К. Г. Юнга, Л. С. Выготского, О. М. Фрейденаберг и др. Полное соответствие ей обнаруживают результаты генетического анализа фольклора, в частности, бытовых сказок и фольклорных анекдотов (В. Я. Пропп, Е. М. Мелетинский, Ю. И. Юдин и др.).

Базовая для юмора оппозиция «ум/глупость» нейтрализуется на метауровне подобно всем другим оппозициям, лежащим в основе культуры. В архаических смеховых «обрядях перехода» ей соответствует оппозиция «культура/природа» («космос/хаос»).

Итак, юмор – это субъективная диалектика, игровое самоотрицание, рефлексия субъекта о собственном мировосприятии, воспринимаемом в динамике, с разных уровней развития. Главное противоречие, лежащее в основе комического, целиком субъективно. Оно состоит в невозможности

примирить две точки зрения, соответствующие разным этапам психического (интеллектуального, морального, эстетического) развития субъекта – развития не только индивидуального, но и эволюционного и культурного. Поэтому полная субъективность юмора несколько не противоречит громадной коллективности и объединяющей силе этого чувства, ведь подлинный субъект и объект юмора – не индивидуум и не группа, а *Homo sapiens*, двойственное биокультурное существо, рефлектирующее о своем онтогенетическом, филогенетическом и культурном развитии и пародирующее себя самого.

2. От смеха – к юмору

Как справедливо заметил этолог Р. Провайн, люди более 2 тысяч лет безуспешно пытаются понять, почему же юмор смешит, именно потому, что они переоценивают роль юмора, как якобы главного способа вызывания смеха, и недооценивают роль смеха, как самостоятельного феномена. Но разрубить этот гордиев узел и изучать оба явления по отдельности – тоже не решение. Да, смех не нуждается в юморе, но юмор нуждается в смехе, а, значит, и нам нужно понять смех, чтобы понять юмор.

Такая задача кажется некоторым психологам неосуществимой. По словам В. Руха, «юмор и смех столь же различны, как боль и плач» [7, р. 340]. Такое сравнение неправомерно. Ни с точки зрения физиологии, ни с точки зрения эволюции боль не может быть следствием плача. Между тем, производность юмора по отношению к смеху не вызывает сомнений как на филогенетическом, так и на онтогенетическом уровне. Она представляется весьма вероятной даже в синхронии, если только говорить не о смехе как таковом (хотя и в жизни он сплошь и рядом выглядит «опережающей реакцией», т. е. в сущности вовсе не реакцией), а о потребности в смехе.

Если мы занимаемся наукой, а не искусством, то даже чистая субъективность (а юмор относится именно к сфере чистой субъективности) должна в идеале предстать перед нами как часть объективной реальности. Но не той мимолетной реальности, которая отражается в кривом зеркале юмора (изучать ее по такому изображению – дело неблагодарное), а той, в которой рефлектирующий и смеющийся субъект – *Homo sapiens* – сам оказывается объектом онтогенеза, эволюции и истории.

Этологические факты позволяют реконструировать филогенез смеха. Спонтанный смех развился из т. н. «игровой мины» – метакommunikативного сигнала несерьезности игровой агрессии (Я. ван Хофф). Гомологичный сигнал используют разные высшие млекопитающие (не только приматы). Звуки смеха, возможно, возникли путем ритуализации тяжелого дыхания, сопровождающего шуточные потасовки у обезьян (Р.

Провайн). Наш смех при щекотке – рудимент этого явления. И смех при восприятии юмора – не «физиологическая реакция», как мы привыкли думать, а бессознательный метакоммуникативный знак.

Недавно появились важные нейрофизиологические факты, касающиеся юмора и смеха. Они суммированы в книге [5]. Древность смеха подтверждается тем, что механизм его контроля целиком локализован в подкорке и не подчиняется воле. Напротив, роль эволюционно новой лобной коры состоит в торможении произвольного смеха (а также в имитации смеха).

Человеческий смех несравненно интенсивнее обезьяньего протосмеха. На физиологическом уровне это вызвано необходимостью прорываться через корковый барьер, а на поведенческом уровне – тем, что смех у человека приобрел несравненно более широкое значение, чем у прочих приматов, превратившись в метакоммуникативный знак несерьезности нарушения любой усвоенной субъектом культурной нормы. Кроме того, он взял на себя функцию разрушителя языковых знаков (см. ниже).

Теперь, наконец, проясняется связь между юмором и смехом. То и другое – проявления игрового самоотрицания. Самоотрицание на уровне личности, т. е. на уровне мысли и чувства – это юмор (метаотношение); самоотрицание на межличностном уровне, т. е. на уровне передачи мыслей и чувств – это смех (метасообщение). Близкий взгляд высказывал Дж. Салли еще на рубеже XIX и XX вв.

Огромная заразительность смеха создает иллюзию «объективности» (или «реляционности») комического. Если бы не объединяющая сила смеха, теоретикам-субъективистам не пришлось бы так долго доказывать, что чувство юмора, в отличие от всех остальных чувств, «никогда не обитает в объекте, а всегда обитает в субъекте» [3, с. 135]. Заразительность эмоциональных проявлений обеспечивается эволюционно древним механизмом, который синхронизирует переживания членов группы и действует на психологическом уровне с помощью эмпатии, а на нейрофизиологическом – с помощью недавно открытых «зеркальных нейронов», активация которых заставляет людей бессознательно подражать друг другу. На этих давно известных «коллективных мимико-соматических рефлексах» основан эффект толпы. Изучение смеха – часть «коллективной рефлексологии» в том виде, в котором и представлял себе эту науку В. М. Бехтерев.

Принято говорить о «семантике юмора» и считать смех всего лишь физиологической реакцией, отзвуком. Это двойная ошибка, возникающая из-за профессионализации юмора и из-за нашей привычки считать речь более надежным средством общения, чем доречевые бессознательные знаки. На самом деле все наоборот: у юмора нет семантики, у смеха она есть. Несерьезное сообщение не значит ничего, тогда как метасообщение (смех)

имеет совершенно определенный смысл: «не принимайте всерьез!». То, что людьми этот смысл не осознается, не значит, что он исчез или превратился во что-то другое. Это значит лишь то, что требуется понять причины, по которым смысл смеха оттеснен в родовое бессознательное.

3. Игра, знаки, смех

Существует два типа игры. Я назвал их игрой порядка и игрой беспорядка (по Р. Кайуа, *ludus* и *paidia*, соответственно). Выясняется, что это два разные явления, различающиеся и по происхождению, и по функции. Игра порядка (ролевая игра) в широком смысле синонимична культуре. Эта игра – прерогатива человека, атрибут его «искусственности». Она не имеет биологических корней. Игра же беспорядка – наследие социальной игры приматов, но, в отличие от последней, у человека это чаще всего метаигра, рефлексия по поводу культуры и культурных ролей. Сюда относятся архаические праздничные обряды обновления мира путем временной отмены всех значений, мифы трикстерского цикла и юмор. Предпосылка обоих типов игры – игровой фрейм (Г. Бейтсон). Но если фрейм игры порядка проникаем, вследствие чего эта игра основана на полноценных знаках, то фрейм игры беспорядка герметичен. Знаки, попадающие внутрь него, перестают быть знаками.

В дополнение к шести функциям языка, выделенным Р. Якобсоном, целесообразно выделить еще одну – антиреферентивную. Подобно поэтической функции, она направлена на сообщение, но, в отличие от поэтической функции, не усложняет референцию, а уничтожает ее. Антиреферентивная функция, реализующаяся во всех несерьезных текстах от трикстерских мифов до анекдотов, показывает, что человек способен смотреть на язык в широком смысле (не конкретный код, а способность пользоваться кодами) с метауровня. Антиреферентивная функция по сути является антиязыковой. Она противостоит прочим функциям языка и обслуживается особым физиологическим механизмом (смехом), приводящим к временному прерыванию речи. Смех – метакоммуникативный знак, направленный против обычных знаков – «контрзнак», по М. В. Бороденко [1, с. 4, 26–27 и др.]. Смех не просто говорит, а кричит: «Это не знаки, не придавайте им значения!». Именно контрзнаковый смысл смеха был и остается основным, если не единственным. Прочие его смыслы – побочные, второстепенные.

Объединение двух типов языковой игры – иронии и юмора – в рамках одного родового понятия (комического) ошибочно. Ирония – разновидность игры порядка. Подобно серьезной фантазии и лжи, она основана на полноценных знаках. Ирония изменяет модус высказывания, оставляя в неприкосновенности референцию и пропозицию. Юмор же – разновидность игры беспорядка. Он уничтожает референцию, вследствие

чего пропозиция становится недоброкачественной, а модус – нерелевантным (так, анекдоты «о Чапаеве» – не о Чапаеве и не выражают никакого отношения к нему). Суть юмора при взгляде с метауровня – не в высмеивании каких-либо людей и явлений, а в посягательстве на язык.

Можно предположить, что юмор и смех – в первую очередь не индивидуальная и не групповая реакция, а видовая. Это проявление конфликта очень глубокого уровня – между общеприматными когнитивно-коммуникативными предрасположенностями человека и языком, возникновение которого было «революцией в эволюции» и, видимо, привело к некоторой нейробиологической дисгармонии. Люди – говорящие приматы – время от времени поднимают игровой бунт против языка. На уровне самого языка бунт проявляется в форме юмора, на уровне речи – в форме смеха. Не довольствуясь психологической функцией «отменителя» языковых знаков, смех их физически разрушает. Он так же антагонистичен по отношению к речи, как юмор – по отношению к языку. Появлением новой эволюционной функции (временное прерывание мысли и речи) наряду с расширением старой (метасообщение о несерьезности нарушения нормы) объясняется огромная интенсивность человеческого смеха, столь контрастирующая с несерьезностью поводов, его вызывающих. Хотя человеку в процессе культурной эволюции удалось отчасти укротить смех, ввести его в рамки конвенции, на самом деле поводы для смеха, традиционно находившиеся в центре внимания теоретиков, – дело второстепенное. Подлинная причина смеха гораздо глубже. Сотрясающая наше тело, смех освобождает нас от слов, мыслей и чувств, приводя нас в блаженное временное безмыслие, бесчувствие и бездействие. Это «перетряхивание души» – краткий и целительный отдых от того бремени, которое человек взвалил на плечи в ходе антропогенеза и культурогенеза. Природа временно берет реванш в соперничестве с культурой. Смех – реакция нашей природы на «человеческую революцию».

Попытки языка превратить смех в конвенциональный знак терпят неудачу, поскольку языковые знаки должны подчиняться волевому контролю, тогда как смех произволен. Возникнув у наших далеких предков в качестве метакоммуникативного «контрзнака», он продолжает оставаться самим собою, жить своей жизнью и быть антагонистом речи. Смех не возвращает человека из культуры в природу, но напоминает ему об искусственности его культурного статуса.

Подлинная причина смеха – человеческое состояние как таковое. Возможность созерцать его с метауровня (метафорой которого в архаических праздничных обрядах предстает «природа») – главная предпосылка смеха, как ритуального, так и юмористического.

4. Культура против природы

В процессе эволюции мозга и подчинения подкорковых функций корковыми, в частности, языковыми, смысл смеха был оттеснен вглубь «родового бессознательного». Вследствие бессознательности, произвольности и «непрозрачности» смеха культура пытается заменить исконный смысл этого метакоммуникативного сигнала несерьезности различными фиктивными смыслами. Однако и эмоции, и врожденные поведенческие комплексы (раньше их называли «инстинктами»), и произвольные выразительные движения обладают значительным запасом эволюционной прочности. Ни одно из этих проявлений нашей природы не было изменено культурой до неузнаваемости. Смех, при всей его непонятности – не исключение. Благодаря расширению своей роли и приобретению эволюционно новой антиречевой функции он стал гораздо сильнее, чем у наших эволюционных предков, но не превратился во что-то качественно иное.

Наиболее чужда сущности смеха распространенная идея о том, что он по природе якобы связан со злом, насилием, осуждением и враждой. Эта идея глубоко укоренена и в обыденном сознании (отсюда понятия «насмешка», «осмеяние», «посмешище»), и в теориях смеха (особенно у англо-американских гоббсианцев). Усиление этой идеи, как и нападки на М. М. Бахтина, в нашей литературе о смехе последних двух десятилетий (ср. эволюцию взглядов А. Я. Гуревича на народную культуру, идеи С. С. Аверинцева, книги С. К. Лашенко и М. Т. Рюминой) – явный отзвук общественно-политических изменений в России. Речь идет о крушении оптимистических установок советской эпохи (в частности веры в исторически-прогрессивную функцию смеха) и об усилении православного фундаментализма.

Современная теория смеха не позволяет расценить эту идейную эволюцию как движение на пути к истине. Смех действительно был частью кровавых ритуалов, однако вовсе не они отражают его природу. Напротив, сопоставление данных о наиболее архаичных праздничных обрядах (австралийских) и фактов, относящихся к игровому поведению высших приматов, демонстрирует отчетливую преемственность, проявляющуюся в миролюбии, невозможности спутать игровую агрессию с подлинной, отмене социальной иерархии и смехе. Судя по всему, противоположное и не имеющее параллелей у животных перерастание шуточной агрессии в настоящую (я обозначил это явление термином «декарнавализация») возникает лишь на сравнительно поздних – в масштабе антропогенеза – этапах существования вида *Homo sapiens*, на долю которых приходится не более четверти, а скорее всего менее 10 % истории нашего вида.

Одно из самых типичных проявлений декарнавализации – сатира. Это

явление внутренне противоречивое. Сатирик стремится совместить то, что можно лишь чередовать – серьезное отношение к объекту с юмористическим метаотношением, направленным на подрыв этого отношения. Он хочет атаковать зло, но средство, которое он пытается использовать для достижения этой цели – игровой сигнал миролюбия – делает задачу неосуществимой. На сознательном уровне сатирик убежден, что нападает на объект с полным правом, однако своим смехом он бессознательно сигнализирует, что считает свои нападки неправильными и просит не принимать их всерьез. Сатира – типичный пример рассогласования между коммуникацией и метакоммуникацией. В сущности, сатирик борется не столько со злом, сколько с самим собою, что рано или поздно приводит его к внутреннему кризису. Закономерность эта прослеживается в творчестве и судьбах сатириков разных стран и эпох. Видимо, дело не в исторических обстоятельствах, а в базовых закономерностях человеческой психики и поведения.

Смех продолжает сопротивляться попыткам людей использовать его в качестве орудия борьбы и разобщения. Несмотря на все свои aberrации, в которых повинна культура, смех, по словам Гоголя, «светел и несет примирение в душу» [2, с. 311]. Понимание его генезиса помогает увидеть его главную функцию в настоящем – сближать людей, заставляя их чувствовать свою принадлежность к одному виду.

1. Бороденко М. В. Два лица Януса-смеха.– Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.– 87 с.
2. Гоголь Н. В. Театральный разъезд // Гоголь Н. В. Избранные произведения.– М.: ОГИЗ, 1948.– С. 299–312.
3. Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики.– М.: Искусство, 1981.– 448 с.
4. Кант И. Критика способности суждения.– М.: Искусство, 1994.– 367 с.
5. Козинцев А. Г. Человек и смех.– СПб: Алетейя, 2007.– 235 с.
6. Смех: истоки и функции / Ред. Козинцев А. Г.– СПб: Наука, 2002.– 224 с.
7. Ruch W. Рец. на книгу: Provine R. R. Laughter: A Scientific Investigation. N. Y., Viking, 2000 // Humor. 2002. Vol. 15. P. 335–355.